

И.З. СЕРМАН

**СВОБОДНЫЕ
РАЗМЫШЛЕНИЯ**

Воспоминания
Статьи

Москва
Новое литературное обозрение
2013

ТЕМА ЗЛА В «МЕДНОМ ВСАДНИКЕ»

Внимательное прочтение «Медного всадника» позволяет обнаружить в поэме повторяющееся понятие, которое в ходе сюжета превращается в словесную тему и оказывается организующим ее началом¹.

Уже во «Вступлении» к поэме в «думах», то есть в замыслах Петра, появляется, казалось бы, случайно, тема зла:

Здесь будет город заложен
Назло надменному соседу...²

Можно было бы подумать, что выражение «назло» имеет частное значение, если бы не повторное появление этого понятия («зло») в иной грамматической форме в концовке «Вступления»:

Вражду и плен старинный свой
Пусть волны финские забудут
И тщетной злобою не будут
Тревожить вечный сон Петра! (137)

В этих строках зло не только получило иную форму: оно от «надменного соседа», из мира геополитики, как сказали бы в наше время, перенесено в мир природы. Носителем неутихающей *злобы* становятся финские «волны», то есть море, стихия, неукротимая и неподвластная государству и вообще человеческой власти.

Вновь вариация на тему зла появляется в тот момент, когда наводнение уже становится бедствием:

Осада! Приступ! **Злые волны,**
Как воры, лезут в окна. (140)

Это те самые *финские волны*, к которым обращается поэт во «Вступлении». Теперь их *злоба* заявляет о себе катастрофическими размерами наводнения. И как бедствие грандиозной силы воспринимают наводнение в поэме все, от царя:

В тот грозный год
Покойный царь еще Россией
Со славой правил. На балкон,

Печален, смутен вышел он
И молвил: «С Божией стихией
Царям не совладать». Он сел
И в думе, скорбными очами
На злое бедствие глядел (141)

до подданных, то есть народа:

Народ
Зрит Божий гнев и казни ждет (141), —

может быть, по аналогии с казнями египетскими?

Но основной персонаж поэмы, Евгений, не разделяет общего отклика на бедствие, он видит в нем только действие какой-то злой силы, в нем нет того набожного смирения, которое объединяет царя и народ:

Его **отчаянные** взоры
На край один наведены
Недвижно были. словно горы
Из возмущенной глубины,
Вставали волны там и злились... (142)

Отчаяние Евгения говорит о какой-то особенной причине его взгляда на наводнение. Сила и свирепость наводнения, тяжесть им совершенных в городе разрушений невольно заставляют предположить в этой злобе волю, то есть ее персонифицировать, и в этом, негуманистическом смысле «очеловечить»:

Но вот, насытясь разрушеньем
И наглым буйством утомясь,
Нева обратно повлеклась,
Своим любясь возмущеньем
И покидая с небреженьем
Свою добычу. Так **злодей**
С свирепой шайкою своей
В село ворвавшись, ломит, режет,
Крушит и грабит; вопли, скрежет.
Насилье, брань, тревога, вой! (143)

Отвлекаясь от этого развернутого сравнения (я его цитирую не до конца), поэт возвращается к главной словесной теме:

Но, торжеством победы полны,
Еще кипели злобно волны... (143)

И только один раз в поэме стихия зла действительно овладевает и человеком — в тот момент, когда Евгений бросает свой вызов, свою угрозу статуе Петра:

«Добро, строитель чудотворный! —
Шепнул он, злобно задрожав, —
Ужо тебе!» (148)

Но вызов этот так слаб, так ничтожен — ведь Евгений его *шепчет*, не решаясь высказать громко. И в последний раз появляется тема зла в воспоминаниях Евгения:

Он узнал
И место, где потоп играл,
Где волны хищные толпились,
Бунтуя злобно вкруг него... (147)

Оживление, метафорическое «очеловечивание» всех сил, участвующих в наводнении, последовательно осуществлено в поэме.

Ветер печально воет, Нева *гневна*; в другом месте — ветер *дышит*, дождь стучит в окно *сердито*.

Эта антропоморфизация с особенной силой сказалась в изображении «поступков» Невы. В начале первой части «Нева металась, как больной...» В кульминацию наводнения Нева

И вдруг, как *зверь* остервенясь,
На город кинулась. (140)

Нева и союзные ей силы природы показаны как живые враги города. Все они служат *злу*, той стихии, которая хочет разрушить или затопить город.

Однажды употребленное Пушкиным понятие *потоп* тоже дано в неожиданном оживлении. Евгений вспоминает «... место, где потоп *играл*».

Такое парадоксальное сочетание удивительно. Ведь с *потопом* связаны самые различные ассоциации, вплоть до библейских, но не представление об «игре».

Давно установлено, что, разрабатывая поэтически образ Петра в «Полтаве», Пушкин воспользовался некоторыми элементами ломоносовского поэтического стиля, его тропикой³.

Некоторые наблюдения мне удалось прибавить к тому, что сделали мои предшественники в этом увлекательном сопоставлении двух поэтов. Я обратил внимание на сложность воспроизведения у Пушкина в «Полтаве» самых смелых ломоносовских обра-

зов: «...к Ломоносову восходит и самый, может быть, неожиданный из пушкинских эпитетов, употребленный в таком сочетании смыслов, которое уводит за пределы привычного для пушкинской поэзии до “Полтавы” словоупотребления:

И он промчался пред полками
Могущ и радостен как бой.

Вне контекста ломоносовской батальной поэзии, вне ломоносовского поэтического восприятия Полтавской битвы этот “радостный бой” не может быть правильно понят... Ломоносов, вспоминая год рождения Елизаветы Петровны, первый применил этот эпитет, выразительный в сочетании с битвой:

Тогда от радостной Полтавы
Победы русской гром гремел,
Тогда не мог Петровой славы
Вместить вселенныя предел...
(«Ода на день рождения Елисаветы Петровны», 1746)⁴.

Как мы знаем, ода и одический стиль привлекли внимание Пушкина после того, как в 1825 году он прочел статью Кюхельбекера «Разбор поэмы князя Шихматова Петр Великий»⁵. Прочел и не согласился, о чем написал в начале декабря Кюхельбекеру: «Ты видишь, мой милый, что я с тобою откровенен по-прежнему и уверен, что этим тебя не рассержу, — но вот чем тебя рассержу: князь Шихматов, несмотря на твой разбор и смотря на твой разбор, бездушный, холодный, надутый, скучный пустомеля... ай. Ай. Больше не буду! Не бей меня!» (X, 191).

А в четвертой главе «Евгения Онегина» Пушкин отвел две строфы (XXXII—XXXIII) полемике с Кюхельбекером по поводу более ранней его статьи, сосредоточившись на проблеме оды и одического стиля. Вся эта глава «Онегина» написана в Михайловском, когда Пушкин уже прочел и статью Кюхельбекера о Шихматове. В ней Пушкин не согласился с общей высокой оценкой поэтических достоинств поэмы Шихматова, но, как я предполагаю, обратил внимание на ту убежденность, с которой Кюхельбекер сближает поэму Шихматова с одами Ломоносова: «Он (Шихматов. — И.С.) свое лиро-эпическое творение создал по образцу не “Илиады” Гомеровой, а похвальных од Ломоносова»⁶. И в заключении своей статьи Кюхельбекер так характеризует стилистику Шихматова: «После Ломоносова и Кострова никто счастливее князя Шихматова не умел слить в одно целое наречие церковное и гражданское: переливы неприметны; славянские речения почти

всегда употреблены с большой осторожностью и разборчивостью; в последние 25 лет, конечно, мы отвыкли от некоторых, но в этом напрасно кто вздумал бы винить нашего автора»⁷.

Свое отношение к Шихматову Кюхельбекер не менял. В 1832 году в дневнике он пишет «отличные два стихотворца Шихматов и Пушкин», и далее идет критика Полтавского сражения в поэмах обоих авторов: «У нас отличные два стихотворца, Шихматов и Пушкин, прославляли это сражение, но не изобразили, ибо то, что у них говорится о Полтавском сражении, можно приурочить и к Лейпцигскому, и к Бородинскому, и к сражению под Остроленкою, стоит только переменить имена собственные»⁸.

Пушкин не знал этого суждения В. Кюхельбекера, но, как я писал в 1971 году: «обращаясь к исторической теме в “Полтаве”, Пушкин извлек из традиций русской поэзии то, что в наибольшей степени соответствовало его собственному подходу к истории. Статья Кюхельбекера о Шихматове могла подсказать ему, что современная поэма об эпохе Петра Великого может быть построена на художественно переосмысленном опыте русской оды XVIII века, и в первую очередь, — оды ломоносовской»⁹.

Думаю, что, обратившись не к историческому, а к философско-поэтическому переосмыслению петровской темы, Пушкин вспомнил статью Кюхельбекера о ломоносовских одах как источнике образности в поэме Шихматова и попытался построить свою поэму не по рецепту Кюхельбекера, но с учетом его суждений и особенно тех обширных цитат из поэмы Шихматова, которые приводит Кюхельбекер. И здесь в изображении враждебных Петру социальных и природных сил Пушкина могла поразить настойчивость, с которой Шихматов разрабатывает все виды вражды как тему *злобы, зла*. Вот несколько примеров из описания стрелецкого бунта в поэме Шихматова, которые приведены (в контексте, а не отдельно) у Кюхельбекера:

Стрельцы, снаясь злобы ядом,

Злодеи, хищностью влекомы,

 Трикраты ночь завесой черной
 Скрывала зрелища злодейств;
 Но не смирялся бунт злосердной...

 Умолкла злоба во врагах¹⁰.

Шихматов такое настойчивое утверждение темы *злобы* не сам изобрел — он следует в этом Ломоносову, у которого эта тема раз-

работана очень подробно именно в поэме «Петр Великий», а до этого в переложениях псалмов.

Тут необходимо небольшое отступление, чтобы объяснить, какое значение тема *зла* имела для Ломоносова и вообще для XVIII века. Философия оптимизма, как ее изложил Лейбниц и как ее понимал Ломоносов, господствовала в европейском Просвещении в первой половине XVIII века¹¹. Против философии оптимизма выступали апологеты христианской ортодоксии и убежденные материалисты, такие как Дидро. Атакуемый с двух сторон, оптимизм, однако, уверенно защищал свои позиции еще в первой половине 1750-х годов.

Всеобщий пересмотр философских основ оптимизма начался после 1755 года. Во главе его противников оказался ранее упорный сторонник Попа, а теперь его неумолимый критик Вольтер в своей поэме «О гибели Лиссабона, или Проверка аксиомы “все — благо”» (1756).

Поэма Вольтера нашла много противников. Среди них с наибольшей страстностью выступал как сторонник убеждения в конечном торжестве блага и предопределенности такого разрешения жизненных противоречий постоянный антагонист Вольтера — Жан-Жак Руссо. Их полемическая переписка, широко известная всей читающей Европе, — нет сомнений, что знал ее и Ломоносов, — через несколько лет появилась и в русском переводе. Возможно, что Ломоносов знал ее и раньше. В 1762 году Рейхель в своем журнале «Собрание лучших сочинений» (1762. Ч. IV. С. 237—273) поместил со своими сочувственными примечаниями перевод полемического письма Руссо с возражениями против основной идеи поэмы Вольтера. Можно думать, что Ломоносов, внимательно следивший за творчеством Вольтера (стихи последнего «Фридрих II» Ломоносов перевел чуть ли не через месяц после их появления в списках), был знаком и с поэмой Вольтера, и с откликами на нее.

Ломоносов иначе, чем Вольтер, откликнулся на лиссабонское землетрясение. Он нашел научное объяснение землетрясений как закономерного явления, вытекающего из геологической структуры Земли, и тем самым сделал ненужным и беспочвенным самый спор между сторонниками и противниками философии оптимизма.

Однако поставленная Вольтером проблема зла, как показало дальнейшее ее развитие в учениях немецкой идеалистической философии и позднее в романтической литературе, стала одной из центральных философских проблем века.

Решение частного вопроса о детерминизме зла в природе (происхождение землетрясений) не избавляло Ломоносова от необходимости дать ответ и на вопрос о роли зла в человеческом обще-

стве и в истории. Семилетняя война, в ходе которой все неприглядные стороны дворянско-бюрократической империи в России обнаружались с небывалой до того ясностью и очевидностью, направила внимание Ломоносова на поиски конкретных причин слабости и несовершенства абсолютистского строя.

Апофеозом истинного государственного деятеля, заслуженно пользующегося славой «героя», славой великого деятеля истории, является поэма Ломоносова о Петре¹². Здесь уже нет одического «обожествления» Петра, хотя его «труды» «превыше человека», то есть превышают обычные человеческие силы, но в нем для Ломоносова воплотился идеал государя, идеал просвещенного правителя:

Да на его пример и на дела велики
Смотря весь смертный род, смотря земны владыки.

Исторический подвиг Петра — это борьба со злом в его конкретных, исторически возникших формах. По Ломоносову, Петр «от самых нежных лет со *злостью* вел войну», то есть с невежеством и реакцией, он победил («смирил злодеев внутрь») стрельцов и победил внешних врагов.

Тема конкретного зла реализована в поэме в картине стрелецкого бунта, которая изложена словами самого Петра. Эта тема проходит лейтмотивом через весь пространственный рассказ-монолог Петра:

Измена с **злобою** на жизнь мою сложась,
В завесу святости притворной обвилась,
Противников добру крепила **злы** советы...

.....

Познав такую злость отвечивал *святитель*...

.....

В надежде достигнуть своих желаний **злых**...

.....

Без сна был **злобный** скоп, не затворяя ока,
Лишь спит незлобие, не зная близко рока...

.....

Наруж выходит, что умыслила София
И что советники ее велели **злыя**...

Увидев из своих чертогов то София,
 Что пресекаются ее коварства злыя...

.....

*И брата и меня злодеям показала...*¹³

И далее через все перипетии стрелецкого бунта, подробно изложенные в рассказе Петра, проходит тема зла, выраженная в различных производных от этой основы (зло) словах: *злость, злодейскаий, злодейственный, злобный* и т.д.

«Злу» во всех его видах противостоит в поэме «слава» в ее тоже конкретных проявлениях: то это «истинная» слава Петра, то «вечная слава» русских воинов-победителей Пруссии в Семилетней войне, то слава героев осады и взятия Ореховца.

В описании боя под Ореховцем (Шлиссельбургом) Ломоносов ставит вопрос об отношении к войне, об ее оценке в свете проблемы зла. И хотя гуманист и человеколюбец в нем протестует против войны как самоистребления человека, Ломоносов — исторический поэт понимает, что войну можно оценить правильно только с точки зрения ее целей и результатов, а не с абстрактным критерием добра и зла. И войны Петра оказываются орудием прогресса и просвещения, а не средством осуществления честолюбивых планов:

*Другие в чести храм рвались чрез ту вступить,
 Но ею он желал Россию просветить*¹⁴.

Итак, истинная «слава» в исторических своих проявлениях оказывается несовместима со «злом».

Ломоносовская поэма о Петре открывается указанием на ту главную борьбу, которую вел Петр:

От самых нежных лет со **злостью** вел войну,
 Сквозь страхи проходя, вознес свою страну,
 Смирил **злодеев** *внутри и вне* поправ *противных*...¹⁵

У Ломоносова понятие *злости* применяется только к человеческим делам и поступкам. Буря, в которую попал Петр на севере, описана именно как стихийное природное явление, никаких признаков *злости* поэт в ней не видит. Более того, он позволяет себе предположить, что буря должна была напугать шведов, только случайно в нее попал Петр:

Ямышлю, что тогда сокрыта в море мочь,
 Желая отвратить набег противных прочь,

Толь страшну бурю им на пагубу воздвигла,
Что в плаваны Петра нечаянно постигла...¹⁶

Во время этого плавания тема *злости* возникает, когда Петр вспоминает о Романовых, сосланных на север Годуновым и там замученных:

Как праотцов его он в север заточил,
Во влажном месте сем, о злоба! уморил¹⁷.

Как сказано выше, больше половины первой песни поэмы отведено стрелцкому бунту как проявлению *злости*, *зла*. Имея в виду отмеченные исследователями «отклики» ломоносовской традиции в «Полтаве», Гуковский писал: «... вопрос заключается в том, каково содержание, каков художественный смысл этих откликов Ломоносова в пушкинской поэме, если Пушкин не мог зависеть от Ломоносова как поэта». И далее он предлагает такой ответ: «Пушкин говорит о Полтавском бое, центральном моменте и подвиге времен Петра, не языком 1709 года и не языком Ломоносова, но вводя в стилистическую характеристику своей поэтической речи колорит поэтической речи ломоносовского типа»¹⁸.

Такое определение стилистического «отклика» поэтической речи «ломоносовского типа», подтверждаемое картиной Полтавской битвы у Пушкина, можно проверить и на как бы нейтральной, не государственно-политической теме у Ломоносова и Пушкина, на теме природы как участника того, что происходит в «Медном всаднике» и в поэме Ломоносова о Петре Великом. По чьей воле действует в поэме ветер, «финские волны», наконец, Нева — главный озверевший и злобный враг Петербурга и его жителей? Кто ими руководит, кто их направляет?

Пушкин, по всему, не разделяет традиционного взгляда на природное бедствие как на «Божий гнев». В черновиках поэмы есть следы того, что поэт готов был присоединиться к общему мнению, там была строка «Послало небо испытанье» (440), но потом эта мысль ушла из текста.

Намеченная в черновиках тема повторяемости наводнений также оказалась ненужной:

Такого
Уже не помнил град Петра
От лета семьдесят седьмого.
Заметная пора.
Тогда еще Екатерина
Жива была и Павлу сына
В тот год Всевышний даровал.

И гимн младенцу
Бряцал Державин. (456)

Все эти исторические припоминания превращали наводнение в привычную черту истории Петербурга.

Пушкину-поэту нужна была уникальность катастрофы, а не включение ее в историю города. И тут мы останавливаемся перед некоторой загадкой: какая же все-таки сила стоит за этой бедой?

Н.Н. Петрунина предложила такое истолкование смысла конфликта в «Медном всаднике»: «... Евгению противостоит историческая сила, внешняя по отношению к нему, действующая через посредство стихий истории и природы»¹⁹.

В этом определении мне кажется спорным понятие «стихия» применительно к истории вообще и в особенности к «Медному всаднику», где первоисточник бед — основание Петербурга — справедливо приписан «воле роковой» Петра. Но сама постановка вопроса о стихии природы и ее роли в истории интересна и плодотворна.

В «Медном всаднике» стихия — в данном случае Нева — представлена изначально как сила *зла*, и она разрушает судьбу Евгения и убивает Парашу. Но ведь Нева не виновата, что роковая *воля* Петра пленила ее и подчинила себе. История вступила в борьбу со стихией и выдержала ее самый страшный натиск, но не спасла Парашу и погубила Евгения.

В «Медном всаднике» природа как воплощение зла губит Евгения и покоряется государственной идее и ее материальному воплощению — Петербургу.

Природа в России всегда зла и только в лучшем случае — равнодушна. Но ведь и Петр действует «*назло* надменному соседу», то есть и в нем недобрая сила, как в той стихии, с которой он воюет.

В поэме Ломоносова «Петр Великий» зло восстает против Петра только в человеческом облике, в виде стрелецкого бунта. Петр у Пушкина объясняет свою волю так:

Природой здесь нам суждено
В Европу прорубить окно.

Он ошибается — природа сопротивляется и бунтует.

Так что же, в поэме конфликтуют два зла, две злые силы?

В записке «О народном воспитании» Пушкин употребил понятие «сила вещей» как синоним исторической необходимости. «Роковая воля» Петра осуществляет историческую необходимость — выход России к морю, к части мирового океана. Историческая необходимость побеждает *злую* силу природы. Разум торжествует над слепой стихией.

В последней книге Стелы Абрамович очень тщательно прослежена одновременность работы Пушкина в Болдине над «Историей Пугачева» и «Медным всадником». Общий вывод исследовательницы: «Накануне отъезда из Болдина Пушкин подводит итоги. Он пробыл в деревне пять недель и мог быть доволен тем, что успел сделать. Этой осенью в Болдине поэт сумел завершить важнейшие свои замыслы, которые он обдумывал в течение нескольких лет. Поразительно разнообразие жанров, в которых Пушкин работал одновременно: “Медный всадник”, “История Пугачева”, “Анджело”, “Осень”... “Пиковая дама”, “Воевода”, “Будрыс и его сыновья”, две сказки в стихах... И все это за месяц с небольшим»²⁰.

В историческом исследовании, равно как и в поэме, реальные факты истории подчинены объяснению *зла* как той «силы», которая в конце концов подчиняется исторической необходимости, но губит мимоходом личность, разрушает ее жизненные планы. Отчасти такое отношение к силам, действующим в истории, сходно с «философией успеха» В. Кузена, влияние которой отмечено мною уже в «Полтаве»²¹.

Народное сознание готово видеть в петербургском наводнении гнев Божий, казнь за грехи. Пушкин своего мнения не высказывает. Ему, вероятно, ближе сомнения, появившиеся у Евгения:

...иль вся наша
И жизнь ничто, как сон пустой,
Насмешка неба над землей?

Так думал Евгений еще до того, как, потрясенный гибелью Параши, он сошел с ума.

Ни народное смирение, ни скептические умствования основного персонажа поэмы для Пушкина неприемлемы. Он свое мнение высказал прямо во «Вступлении», где его убежденность в исторической судьбе России ясна.

В ходе обсуждения этой работы на международной пушкинской конференции в Иерусалиме 13 мая 1999 года Б. Кац поделился со мной очень интересным наблюдением. Он указал на то, что понятие *добро*, которое мы привыкли искать в оппозиции к *злу*, в «Медном всаднике» появляется только один раз, да и то, в сущности, в противоположном своему основному смыслу значения:

Добро, строитель чудотворный... (148)

Здесь *добро* — угроза, желание отомстить, наказать, — то самое добро, которое, по мысли нашего современника-поэта, должно быть «с кулаками».

Сам Пушкин, когда писал «Медного всадника» и «Историю Пугачева», категорически отрицал возможность такого подхода к истории, когда обязательно взвешиваются добро и зло. В своем ответе Броневскому он привел обширную цитату из его «Истории Донского войска» («Например: “Нравственный мир, так же как и физический, имеет свои феномены, способные утратить всякого любопытного, дерзающего рассматривать оные. Если верить философам, что жизнь состоит из двух стихий: добра и зла, — то Емелька Пугачев бесспорно принадлежал к редким явлениям, извергам, вне законов природы рожденным; ибо в естестве его не было и малейшей искры добра, того благого начала, той духовной части, которые разумное творение от бессмысленного животного отличают. История сего злодея может изумить порочного и вселить отвращение даже в самих разбойниках и убийцах. Она вместе с тем доказывает, как низко может падать человек и какую адскую злобою может быть преисполнено его сердце. Если бы деяния Пугачева подвержены были малейшему сомнению, я с радостью вырвал бы страницу сию из труда моего”»). Пушкин сопровождал ее такими саркастическими словами, которые избавляют нас от необходимости искать в его поэме дорогую многим дихотомию добра и зла: «Политические и нравоучительные размышления, коими г. Броневский украсил свое повествование, слабы и пошлы и не вознаграждают читателей за недостаток фактов, точных известий и ясного изложения происшествий» (9. Ч. 1. С. 392).

2000 г.

¹ О словесной теме см.: *Жирмунский В.М.* Теория литературы. Поэтика. Стилистика. Л., 1977. С. 30—31.

² *Пушкин А.С.* Полное собрание сочинений: В 17 т. [Репринт издания] М., 1994. Т. 5. Поэмы 1825—1833. С. 135. Далее ссылки на это издание в тексте.

³ *Коплан Б.* Полтавский бой Пушкина и оды Ломоносова // Пушкин и его современники. Вып. XXXVIII—XXXIX. Л., 1930. С. 113—121.

⁴ Цит. по: *Серман И.З.* Художественная проблематика и композиция поэмы «Полтава» // А.С. Пушкин. Статьи и материалы. Уч. зап. Горьковского госуниверситета им. Н.И. Лобачевского. Вып. 115. Горький, 1971. С. 25—40; перепечатана в: Пушкинский сборник. Вып. 1. Иерусалим, 1997. С. 46—47.

⁵ *Кюхельбекер В.К.* Путешествие. Дневник. Статьи / Изд. подгот. Н.В. Королева, М.Г. Альтшуллер. Л., 1979. С. 468—492.

⁶ Там же. С. 470.

⁷ Там же. С. 491.

- ⁸ Там же. С. 88.
- ⁹ Пушкинский сборник. С. 44.
- ¹⁰ *Кюхельбекер В.К.* Путешествие. Дневник. Статьи. С. 471—472.
- ¹¹ См. об этом подробнее: *Серман И.З.* Поэтический стиль Ломоносова. М.; Л., 1966. С. 75—84.
- ¹² *Ломоносов М.В.* Полн. собр. соч. М.; Л., 1959. Т. 8. С. 699.
- ¹³ Там же. С. 707—710.
- ¹⁴ Там же. С. 732.
- ¹⁵ Там же. С. 698.
- ¹⁶ Там же. С. 701.
- ¹⁷ Там же. С. 702.
- ¹⁸ *Гуковский Г.А.* Пушкин и проблемы реалистического стиля. М., 1957. С. 104.
- ¹⁹ *Петрунина Н.Н.* Проза Пушкина. Л., 1987. С. 221.
- ²⁰ *Абрамович С.* Пушкин в 1833 году. Хроника. М., 1994. С. 472.
- ²¹ См.: Пушкинский сборник. С. 38.